

Веселый солдат

Век. Москва. — 2000. — 6 март. С. 2

Так называется одна из самых страшных повестей Астафьева. Она — о конце войны и первых послевоенных годах, обманувших его ожидания: легче не стало. Но сам напор, жар, с которым написана эта вещь, ее жесткая лексика и черноватый юмор делают «Солдата» не только мучительным, но и радостным чтением. Так же выглядит и общение с Астафьевым: и весело, и мучительно. Ужасны подробности, о которых он говорит. Прекрасна и напориста его живая и горячая речь. И сам он — некое воплощение неубиваемости, триумф мощи. Не говоря о том, что проза его до сих пор остается, вероятно, лучшим из того, что пишется сегодня по-русски. Уж точно — самым живым.

Дмитрий БЫНОВ

-Виктор Петрович, каждая новая ваша вещь о войне встречается дружными восторгами и столь же дружными упреками. Говорят, что это не та война, что это сгущение красок...

— Я не говорю, что моя война — единственно верная. Я помню такую. Я должен был написать свою. У нас была война журналистская, война генеральская, война лейтенантская. Солдатской быть не могло потому, что при коммунистах писать ее было нельзя, а после коммунистов — практически некому. Я могу назвать тебе лучшие повести о войне. Это «Сашка» Кондратьева и последующие его вещи. Это проза Казакевича — «Звезда» и «Двое в степи». Обрати внимание, что из множества корреспондентов, командированных на войну, Казакевич был едва ли не единственным, кто регулярно на нее возвращался: за это разведчики его уважали и рассказали ему историю «Звезды». Безусловно, лучшую военную прозу написал Виктор Некрасов, которого выгнали-таки отсюда. Превосходная вещь Евгения Носова, друга моего и очень сильного писателя, — «Усыятские шлемоносцы». И я думаю, что моя повесть «Пастух и пастушка» была не худшим сочинением о войне — во всяком случае, я ее люблю больше всего написанного, наряду с «Последним поклоном».

— Значит, все-таки писалась правда о войне?

— Нет единой правды о войне. Она как бы существовала и была канонизирована — правда героическая, ничего общего с окопной не имеющая. У нас все время говорили — и говорят, это происходит большей частью от бездушия — что это был подвиг народа. А что это было истребление народа, который лет двадцать еще не мог от этой травмы оправиться, говорить было не принято. Эта война была выиграна не только героизмом, но и числом жертв, которых не жалели, и нечеловеческой выносливостью русского солдата. Этому солдату — и мне в том числе, я ведь рядовой, три года на передовой — временами хотелось, чтобы убили. Так он ус-

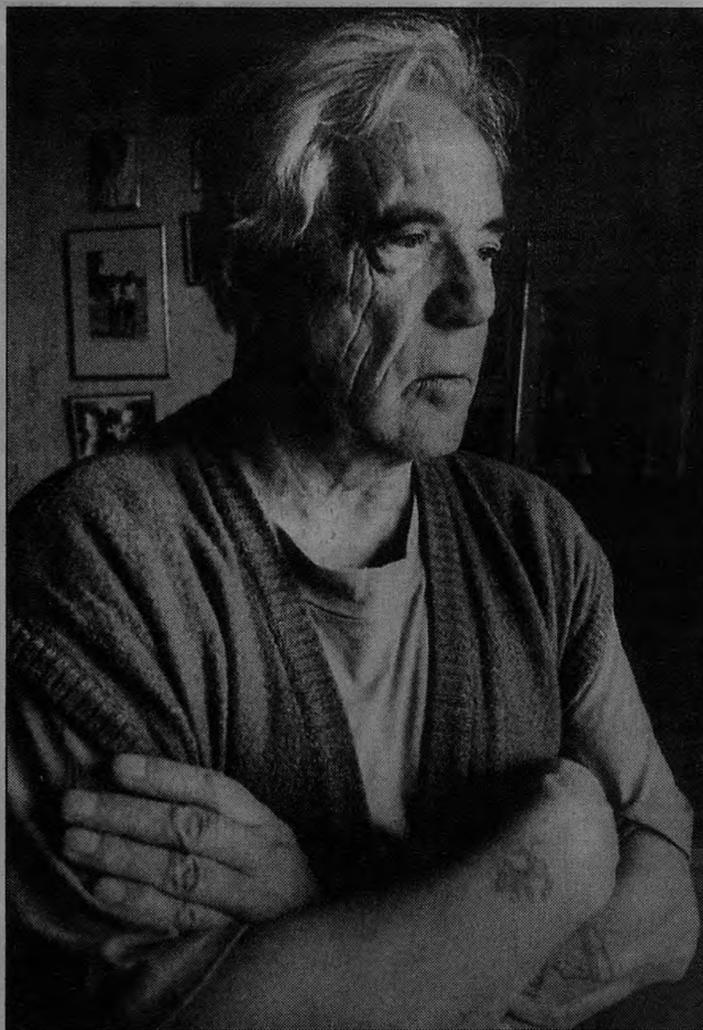
тавал. Иногда он питался по неделе кипятком с сухарями, иногда засыпал на ходу. Так и я мог погибнуть — заснули прямо в поле, проспали до ночи, и ехавший по этому полю танк включил фары. Не то бы нас задавили свои — рев его нас не разбудил. Научились спать в таком грохоте, что новый человек оглох бы. Эта война стоила народу его будущего — вся срединная Россия осталась без мужчин, и ничем эту жертву не окупить, ничем яму не выровнять. Фронтовики понимают, что я говорю правду. От них я не получил ни одного осуждающего письма — говорю о настоящих фронтовиках, об окопниках.

— А вам много пишут?

— У меня с читателем какая-то странная связь, помимо писем, помимо прямого общения. Допустим, мне нужны тексты фронтовых песен — я не помню их, на фронте ведь не пели того, что выходило потом на пластинках. Другие были тексты. И вдруг приходит письмо от человека, который рассказывает, что хранил эти тексты всю жизнь, а передать некому — вот он шлет их мне. Я не обращался, не просил. Но чувствуют...

— Вы говорите о яме, о том, что народ надорвался. Но как же гордость победителей, о которой столько говорили тогда и потом?

— Помимо страшной усталости была и гордость, конечно. Но ее задавили сразу. Послевоенные годы — по голоду, по силе давления на человека — были едва ли не страшной военных. Мы вернулись не победителями, по сути, а теми же винтиками, какими нас и хотели видеть. Трубили о героизме, а жить солдату не давали. Калек прятали. Вписаться в эту жизнь после фронта было невозможно, множество народу оказалось в лагерях, гордость из поколения выбивали на каждом шагу. Но не учли другого: эта война научила не только воевать, но и выживать. Человек, три года проведенный на передовой, выжить не мог, не должен был по определению. И если уж он каким-то небывалым чудом выживал — как выжил я, чтобы было кому рассказать все это, — его уже ничем было не взять. Он привыкал чутко опасность. И напугать его было трудно — никакая травля не действует, если ты видел, например, танк. Вообще на войне человека с во-



Виктор Астафьев. Май 2000 год

бражением отличить очень просто: нормальный солдат, здоровый, мыслящий, больше всего боится бомбежки, самолета. Человек с воображением больше всего боится танка, потому что это громадная железная машина, броня толщиной с хорошее бревно, и сделать с ним почти ничего нельзя — уязвим он только сзади, то есть когда уже по тебе проедет. Я

У нас была война журналистская, война генеральская, война лейтенантская. Солдатской быть не могло потому, что при коммунистах писать ее было нельзя, а после коммунистов — практически некому

и не стесняюсь признаваться, что больше всего боялся танков.

— Мне кажется, вы вообще с самого начала, еще до войны, понимали, что рано или поздно будете писать. Тут не только в воображении дело, а в складе ума...

— Ты знаешь, странность: я на всех своих детских фотографиях почему-то с книгой. Хотя книга в моем детстве была не такая уж частая и доступная вещь. Но я, во-первых, все время их раздобывал и много читал (на фронте «тискал романы» ребятам, пересказывал приключенческие книжки), а во-

вторых, почему-то все запоминал. Бывают такие впечатлительные души, которые иной раз и в самых зверских условиях зарождаются и сохраняются. Артистизм этот, память, какое-то врожденное чутье на страшную или прекрасную деталь встречаются в любой среде одинаково редко, тут от образования и удачливости мало что зависит. Своего рода артистической натурой был и мой отец, пьяница, красавец и сочинитель. Меня судьба так вела, что я действительно многое видел, попадал в крошечные переделки и все откладывал в какой-то запасник. Это все равно вылезло бы,

А рядом с этими настоящими писателями были озлобленные и лживые, сдававшие своих и клеветавшие на них. Иногда это были люди не без искры таланта, как Василий Белов, но талант этот в них был задавлен комплексами и злобой. И того же Белова, в юности работавшего в обкоме комсомола, мне легко представить себе среди тех, кого он так грозно проклинал сегодня, — среди коллективизаторов с наганями! Впрочем, тут еще одна драма — драма малого роста. Это для мужчины серьезное испытание, взять хоть Ленина.

— А вы к Ленину без уважения относитесь, как я заметил?

— Да ну его совсем, с уважением относиться... Я еще в семидесятые годы, когда приезжал на родину, в Овсянку (сам жил в Вологде до восьмидесятого), был однажды с женой в Шушенском. Это по нашим меркам недалеко отсюда. Громко, никого не стесняясь, сказал, что не отказался бы и сейчас пожить в тех условиях, в каких тут жил и творил этот ссыльный... Правда, есть такой убойный якобы аргумент: может, только его методами и можно в России

— А на Запад переправили бы?

— Не знаю, некому было переправлять. У меня в диссидентских кругах знакомых почти не было, тем более что кухонные эти противостояния властям имели с диссидентством очень мало общего. Настоящим борцом был Марченко — он и заплатил за это жизнью. Очень многие играли в противостояние, любовались со-

бой, искали поводы для самоуважения — в этой среде было ничуть не меньше своей гнили.

— Вы вообще как-то не задержались ни в одном кружке — из «Нашего современника» ушли, с «патриотами» рассорились, демократам от вас тоже достаётся...

— И им от меня, и мне от всех. Кружок «Современника» был очень разный, и главная ошибка коммунистов — хотя, какая это ошибка, это грех смертный — как раз в попытке соединить патриотизм с коммунизмом. И Бога припрячь. В «Нашем современнике» печатался огромный писатель Распутин, человек нежнейшей души и прозаик первостатейный, в поздней своей прозе достигший совершенно новых высот. Взять «Избу» или «Нежданно-негаданно». Там печатался Носов. Печатали мы Константина Воробьева, безвременно ушедшего прозаика, который волей судьбы оказался в Прибалтике и так и не смог переехать в Россию — именно потому, что не хотел брать никакой помощи от тогдашних писательских генералов. Воробьевская повесть «Убиты под Москвой», кстати, тоже из лучшего о войне. Интересно нас познакомили: кто-то мне подсунил повесть Евгения Воробьева (Воробьевых ведь, как Смирновых, в русской литературе достаточно). Я прочел это дикое вранье и, не взглянув толком на инициал, отправил Воробьеву в Прибалтику разгромное письмо. После чего получил очень дружеский ответ: мол, здорово ты его костеришь... Так мы и сдружились: он был человек веселый, огромный мужчина, кремлевский курсант и умел обо всем как-то смешно рассказывать. Хотя ужасов навиделся — не приведи бог никому, и в плену был, но сроду не пожаловался ни на что. И умер едва за пятьдесят, не закончив лучшую вещь свою — «И всему роду твоему».

А рядом с этими настоящими писателями были озлобленные и лживые, сдававшие своих и клеветавшие на них. Иногда это были люди не без искры таланта, как Василий Белов, но талант этот в них был задавлен комплексами и злобой. И того же Белова, в юности работавшего в обкоме комсомола, мне легко представить себе среди тех, кого он так грозно проклинал сегодня, — среди коллективизаторов с наганями! Впрочем, тут еще одна драма — драма малого роста. Это для мужчины серьезное испытание, взять хоть Ленина.

— А вы к Ленину без уважения относитесь, как я заметил?

— Да ну его совсем, с уважением относиться... Я еще в семидесятые годы, когда приезжал на родину, в Овсянку (сам жил в Вологде до восьмидесятого), был однажды с женой в Шушенском. Это по нашим меркам недалеко отсюда. Громко, никого не стесняясь, сказал, что не отказался бы и сейчас пожить в тех условиях, в каких тут жил и творил этот ссыльный... Правда, есть такой убойный якобы аргумент: может, только его методами и можно в России

что-то насадить? Чего-то добыть? Я в ответ всегда предлагаю вспомнить, что он насадил и чего добился. Нормальную жизнь насаждать не надо — она сама пробивается вопреки всему. И когда мне говорят, что мы народ самый жестокий и самоистребительный, я всегда говорю на это, что нет более живучего народа. Не представляю другой страны, которой такой век не перебили бы хребет. А нам не перебили — потому что людей, чующих фальшь и не способных на преступление, здесь пока не меньше половины. Будет меньше — считай, конец.

— Меня когда-то поразил эпиграф в «Пастухе и пастушке» — мрачная, кровавая военная вещь, у вас вообще материал не самый благоуханный, как правило... и на тебе — Теофиль Готье.

— Дима, я читал много книжек. Мне эти стихи Готье показались идеально выражающими суть книжки. Двухтомник его я тогда часто перечитывал. Я и теперь читаю много, хотя одним глазом почти не вижу. Что мне еще делать? Рыбачил раньше, а теперь какая тут рыбалка, все потаскали... Читаю, когда не могу писать, а писать я теперь могу далеко не так, как прежде, — за весь прошлый год написал столько, что за два часа прочтешь. «Затеси», наброски к третьей книге «Прокляты и убиты»...

— Она будет?

— Будет обязательно, хотя я военными новостями — «Обертонном», «Веселым солдатом» — как будто часть своего долга выплатил. Но хотя бы главы из третьей книги напишу обязательно — я далеко не все сказал, что должен был. Война меня засасывает, я не успею начать, как тут же все само ползет из памяти. Обычно-то я не помню, забыл, заросло. А тут — хлещет. Но на лето, когда в Овсянку уеду, у меня планы другие. Буду заканчивать повесть о собаке нашей — «Приключения Спирьки». Хочу детскую вещь написать, сколько можно о страшном да о страшном...

— Скажите... В «Веселом солдате» все правда?

— Все. Чистая автобиография.

— И немца того вы убили?

— Убил. Четко видел, что убиваю, и выстрелил. Он хромой был. Потом еще посмотрел подходить на него — он был старый. Меня за то и наказали, двух дочерей я похоронил. Одну маленькую, другой было тридцать девять лет, двое детей. Умерла от сердечной болезни. Мы с Марьей Семеновной жить должны за нее. Мне еще внукам помогать. У меня внук в МГУ учится, химик. Так я московские свои гонорары не забираю из «Нового мира», оставляю ему. Они в Москве лежат у редактора. Только ведь и в МГУ у них свой рэкет, в общежитии. Обирают их. Ну, нашего не больно-то оберешь...

— Есть у вас кроме Сибири любимое место на земле?

— Север. Исландия, Шотландия. Люди там похожие на нас, славянского северного типа, только красивее. Такими мы задуманы, да не смогли быть. Но я так все там знал, так — уже заранее — любил эти края, жил, думаю, какую-то прежнюю жизнь жил там. Приехал — и все как родное. Как будто попал в идеальную Россию, какой она могла быть. И будет еще, наверное. Потому что жизнь в том и заключается, чтобы тянуться к Божьему замыслу о себе.